

ЮРИЙ ИЗУМРУДОВ

## СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ И БОРИС САДОВСКОЙ

(К 130-летию Б. Садовского)

*Спешу сообщить сперва о самом главном для меня: моя книжка “Бова” выйдет с маркой книгоиздательства “Альциона”. Вы понимаете все выгоды от такого изменения: в “Альционе” <...> печатаются самые лучшие силы — как-то: Белый, Садовский, Кузьмин, Блок и многие другие. Я так рад этому, что ничего не могу сказать иного, что именно рад.*

С. Клычков. Из письма М. Чайковскому. 1910 г.

*...наступила пора Клычковых и Клюевых, подлинных сыновей деревни <...> После бездушной лжепоэзии эстетов из “Аполлона” и наглой вакханалии футуризма, отдыхаешь душой на чистых, как лесные зори, вдохновениях народных поэтов.*

Б. Садовской. “О народных поэтах” (“Ледоход”, 1916 г.).

I

Этапным в постижении художественного мира замечательного писателя Серебряного века, земляка-нижегородца Бориса Садовского стало для меня знакомство с творчеством и судьбой Сергея Клычкова. Они очень высоко ценили друг друга, переписывались — и не о пустяках каких-нибудь, не о бытовых мелочах — о смысле Жизни и Творчества, о том, как в этом немилосердном жестоком мире сохранить незапятнанной свою душу, не изменить Божественному Глаголу. И тот и другой как-то очень рано сознали себя творцами, к ко-

---

*ИЗУМРУДОВ Юрий Александрович родился в 1957 году в деревне Свириповке Сергачевского района Горьковской области. Окончил филологический факультет Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Кандидат филологических наук. Доцент кафедры русской литературы XX века филологического факультета Нижегородского государственного университета. Живёт в Нижнем Новгороде.*

торым, как к пушкинскому Пророку, “Бога глас воззвал”. Оба в годы молодости вращались в символистско-акмеистской среде, однако писали, ориентируясь на классику, на непреходящие ценности поэзии XIX столетия, на Пушкина. Так, Садовской уже свою первую книгу, “Позднее утро” (1909 г.), выпустил со специальным обращением к читателю, где особо отмечал, что причисляет себя к “поэтам пушкинской школы”, “к неопушкинскому течению” (1). Клычков, отвечая на Пушкинскую анкету журнала “Книга о книгах”, писал: “Чувство влечения к Пушкину, любви к его поэзии – как чувство голода, жажды: почти физическое чувство. В разгар футуризма и поэтического атеизма Пушкин для меня всегда был образом утешения, успокоения и надежды, – надежды, что вся эта шумливость, заносчивость нелепости, самоуверенная непростота и бездумье – пройдёт без следа и заметы в сердце человечества. Если мы ещё не вплотную подошли к Пушкину, то это будет завтра. <...> ...завтра литература будет жить Пушкиным” (2).

Однажды общий знакомый Садовского и Клычкова секретарь издательства “Мусагет” Витольд Ахрамович принялся настойчиво убеждать Клычкова изменить творческую манеру: писать, де, как он, старо, вчерашний день, не лучше ли было бы пойти по пути Клюева. Клычков весьма бурно отреагировал на это, что называется, отбрил Ахрамовича, о чём и поспешил известить Бориса Александровича: “Своим скудоумием в этот раз он (Ахрамович. – Ю. И.) меня окончательно убил, и я впервые за свою жизнь с “литератором” (он же ведь литератор!) возвысил бронхи и отрубил, что я – неисправим и что лучше будет, если он этот разговор кончит. <...> Он мне подарил книгу о сильном человеке! Я теперь знаю только то, что Витольд – слабый полук!” (3). Уж кто-кто, а Садовской знал, что сбить Клычкова с его пути-дорожки – дело безнадежное, и что именно такими, как он, держалась и будет держаться настоящая литература, а не такими, как Ахрамович.

Интересно, что несколько ранее и сам Ахрамович получил аналогичный подарок – “книгу о сильном человеке” – и как раз от Садовского. В контексте клычковского письма – факт символический: как бы в назидание подарок, с намёком: один из рассказов своего сборника “Узор чугунный” (1911 г.), “Сын Белокаменной Москвы”, – о Денисе Давыдове, поистине сильном человеке, легендарной личности, герое войны 1812 года, Борис Александрович посвятил именно Ахрамовичу...

## II

На первых порах Садовской, по мере своих сил, помогал Клычкову с публикациями: и постарше был, и солидный редакторский опыт имел, в частности в знаменитых “Весах”, и налаженные литературные связи (доподлинно известно, со слов самого Клычкова, что тот посылал Садовскому свои стихотворения). И кстати тут будет отметить, что и первый, и второй сборники Клычкова – “Песни” и “Потаённый сад”, концептуальные сборники, ознаменовавшие появление нового самобытнейшего лирика, – вышли в издательстве “Альциона”, основателем и руководителем которого был однокашник Садовского по Нижегородскому дворянскому институту А. М. Кожебаткин. В “Альционе” же Садовской напечатал и две свои книги, в том числе знаменитый “Самовар” – с таким вот посвящением издателю-земляку:

*Я стихотворству, ты изданью  
От юных лет обречены,  
Мы водохлёбь, по преданью  
Нижегородской старины.  
Струями волжской Ипокрены  
Вспоили щедро нас Камены  
И Мусагета водомёт.  
Теперь фонтан его поёт  
В лугах лазурной Альционы.  
Заветы Пушкина храня,  
Ты отблеск чтишь его огня  
И красоты его законы;  
За то несущ тебе я в дар  
Мой одинокий Самовар.*

Кроме того, Садовской инициировал выпуск “Альционной” “Стихотворений” своего рано умершего друга Юрия Сидорова, “высокоталантливого юноши”, как напишет потом о нем в “Записках”... (4). И наряду с такими авторитетами, как В. Брюсов и М. Кузмин, участвовал в издании “Альманаха” “Альционы” — как постоянный и желанный автор её. И тоже авторитет.

... Подытоживая всё это, замечу: в предварявшем “Песни” С. Клычкова напутственном слове от издательства слышу я и голос Б. Садовского: “Одно из заданий книгоиздательства “Альциона” — ласка и привет молодым поэтам. Книга безвременно погибшего юноши Юрия Сидорова была первой, которую “Альциона” предложила вниманию любителей поэзии. Ныне, выпуская в свет “Песни” Сергея Клычкова, поэта молодого и полного жизни, “Альциона” может только пожелать, чтобы юный весенний побег не засох и стал густолиственной ветвью древа русской поэзии” (5).

И к семье ещё две коротенькие цитаты — из заграничных писем Андрея Белого Кожебаткину: как бы то ни было, они прочитываются в одном контексте, связавшем судьбы наших поэтов.

“Привет Садовскому; скажите ему, что в Италии вспоминал его” (13 декабря 1910 г.). И — “Да здравствуют “Альциона” и “Мусарет” (6). Спасибо за Клычкова: очень интересен (курсив мой. — Ю. И.). Издание превосходно. <...> ... хочется жить, работать, глядеть на Божий мир” (конец марта 1911 г.) (7).

В дальнейшем Садовской и Клычков как бы поменяются ролями: уже Клычков будет на редакторской работе (в журнале “Красная Новь”), а Садовской станет обращаться к нему за содействием. И Клычков не оставит своего давнего товарища без помощи: “Красная Новь” опубликует два его рассказа — “Дневник генерала” и “Аракчеевская шутка” и главу из романа “Карл Вебер”. О последнем произведении Клычков извещит автора специальной открыткой: “Присылай непременно весь роман Вебера, если он у тебя готов. Если не готов — пойдёт отрывок” (8). Поэт и мемуарист В. А. Пяст напишет Садовскому 11 февраля 1927 года: “Могу Вас порадовать, что Ваши вещи в “Красной Нови” очень одобрены. С. Клычков сказал мне: “Так хорошо, что нельзя не поместить” (конечно, как бы ни хотелось забраковать). И в пример мне это сказал Клычков, сообщая о зарезе им моей повести” (9).

О Клычкове как о главной надежде в возможной публикации “Приключения Карла Вебера” написал Садовскому его земляк и литературный воспитанник Дмитрий Кузнецов, немало исходивший по столичным редакциям с ходатайствами по его рукописям — увы, далеко не всегда успешными: ультрареволюционные идеологи объявили Садовского “несозвучным эпохе”: “Вебера” я передал в “Пролетарий”. Случайно в это время, когда я был в редакции, пришёл и Клычков. Он оказал хорошее содействие устройству романа. Я думаю, что отзыв его окажет пользу в этом деле... Шансы очень большие” (10).

... В 1928 году “Приключения Карла Вебера” были изданы отдельной книжкой и полностью. В чём, безусловно, заслуга и Клычкова. Наверняка и далее бы поддерживал он Садовского, да только вот и его самого ослабили несозвучным эпохе, отказали в редакционной работе, запретили печатать оригинальные произведения, обрекли на нищенское существование, — а потом и расстреляли...

### III

Ещё в 1913 году, задолго до написания прославивших его романов, в которых современники почувствовали “китежское, потустороннее, нестеровское” (11), Клычков совершил путешествие к озеру Светлояр, в воды которого будто бы погрузился град Китеж, спасаясь от монголо-татарского нашествия. Возможно, одним из побудительных мотивов к этому путешествию явилось общение с Садовским (впрочем, на этом предположении не настаиваю: подтверждающих фактов в изобилующей “белыми пятнами” биографии поэта — “новокрестьянина” не зафиксировано). Клычкову, конечно же, было известно, что Садовской — нижегородец, прекрасно знает места, где возникла китежская легенда, сам немало интересуется стариной. Получить от этого человека совет или просто напутствие — уже многое значило.

Всё путешествие Клычков проделал пешком (от Иванова), с посохом и котомкой за плечами. На Светлояре всё его чрезвычайно заинтересовало, но особенно был он захвачен грандиозным празднеством, собравшим множество

паломников. Записал сказ о спящей в гробу на городской площади Китежа девушке-красавице. Сказ этот потом – в двадцатые годы – вспомнится, когда замыслился роман “Китежский павлин”. Как вспомнится и многое другое...

Сопутником Клычкова по путешествию был его друг, литературовед П. А. Журов. Он оставил великолепную мемуарную зарисовку о светлоярских впечатлениях – своих и Клычкова. Стоит процитировать фрагменты из неё, тем паче что в обширной литературе, посвящённой Китежу, имя выдающегося “новокрестьянского” поэта и прозаика и по сию пору не упоминается: “...появились отдельные странники, худые и поджарые, в домотканых одеждах, в лаптях. Потом группы богомольцев, сбившиеся в круг около выбранной берёзы; слышалось пение духовных стихов. Подъехали телеги, нагруженные старинными книгами в толстых кожаных переплётках. Подошли пешие с севера, из Вологодской губернии – осанистые, в чёрном, похожие на монахинь богомолки. К 22 июня (праздник на Светлояре, по ст. ст. – Ю. И.) собралось множество паломников и паломниц, разного возраста, преимущественно старообрядцев разных толков и сектантов (“немоляки” и пр.), местных крестьян и приезжих из сёл и городов (в селе Сергею встретился писатель-москвич Ашукин). Около возов с книгами загорелись споры. Отдельные кучки паломников, тесно сбившись, как рой, каждая перед своей берёзой, с подвешенным на ствол образком, служили свои обедни и повечерия или сидя, отдыхая, пели духовные стихи. В широком кругу близ часовни шли споры о вере. Здесь были и православные миссионеры, поражавшие грубым самоуверенным тоном. “С точки зрения науки” они старались разрушить легенду о Китеже. В часовне православное духовенство служило молебны. Вокруг озера вереницами шли богомольцы с зажжёнными восковыми свечами в руках. Обойти трижды озеро значило как бы “соединиться” с градом Китежем. Потом горящую свечу ставили на дощечку или на кусок коры и пускали плыть по воде. К вечеру огоньки светились по озеру. В эти дни никто в нём не купался, оно было как бы священным. Всё в целом представляло необычную, волнующую картину народной мистерии. Тут можно было увидеть иконописных старцев, будто сошедших с картин Нестерова, и молодых девушек поразительной красоты в платочках. Рассказывались легенды о китежском звоне, о возах с пшеницей, перед которыми раскрылись в воде ворота; читали рукописную летопись о граде Китеже, укрытом от злых татар Божию дланию” (12).

Китежская легенда в произведениях Клычкова отразилась весьма необычно – не содержательной стороной, а символично-стилевой, определила саму суть его писательской манеры. Повествование у Клычкова зачастую строится на грани вымысла и реальности, фантастики и сущего: тут и демонологические персонажи и реальные люди; вроде бы рассказывается о сказочном, неправдашнем, – а кажется всё это будничным, обыкновенным. Вроде бы миф, и в то же время не миф. (И читателю, зачарованному всем этим, приходится гадать, “сплетка это иль правда” (13).) Происходит своего рода пульсация, мерцание смысла. Как и в легенде о Китеже: то он есть, этот град, то нет его; то он видимый (праведниками), то невидимый (неправедниками). И не удивительно ли – подобный эффект смыслового мерцания весьма характерен и для прозы Садовского. Это также повествование на грани вымысла и реальности. Свои истории о событиях, которых в действительности не было, Садовской так искусно стилизовал под старину, под прошлое, что это казалось всамделишным, реально происходившим. Не только рядовые читатели попадали под магию таких вдохновенных мистификаций, но и искушённые историки, литераторы. Так, известный норвежский славист Гейр Хетсо принял рассказ Садовского “Две главы из неизданных записок” за действительно существующие мемуары соученика Е. Баратынского по Пажескому корпусу и использовал его – как документ – в своей книге об этом русском поэте (“Евгений Баратынский. Жизнь и творчество”. Осло, 1973 г.). В похожую ситуацию попал и маститый историк, издатель “Русского вестника” П. И. Бартенов. Об этом поведал сам Садовской в своих “Записках”: “Мой рассказ в стиле 18 века <...> очень понравился Петру Ивановичу. Долго не хотел он верить, что это сочинено. “Какой подлог: в Англии вам бы за это руки не подали”. Насилу я убедил его. Старик захромал к шифоньерке, достал автограф Пушкина (вариант к “Русалке”), отрезал огромными ножницами два с половиной стиха и подарил мне. “Вот вам за вашу прекрасную прозу” (14). Садовской в данном случае имел в виду рассказ “Черты из жизни моей. Памятные записки гвардии

капитана А. И. Лихутина, писанные им в городе Курмыше, в 1807 году”. Замечаете? – уже название само “работает” на мистификацию. Приём, весьма характерный для Садовского.

#### IV

Но произведения Садовского – вовсе не какие-то – пусть и искусные – подделки, не что-то вторичное, как может показаться на первый взгляд, при невнимательном или предубеждённо-пристрастном прочтении (и казалось, кстати, если полистать дореволюционные журналы с рецензиями и критическими откликами. Впрочем, подобное, к сожалению, и ныне имеет место: в частности, в вышедшей в 1995 году монографии И. Корецкой “Над страницами русской поэзии и прозы начала 20 века” рассказы Садовского, печатавшиеся в журнале “Аполлон”, охарактеризованы как “безжизненные подделки под старину”). Это настоящая литература, полновесная, высокохудожественная. Отнюдь не с целью мистифицировать читателя, не для того, чтобы поиграть с ним, слагал свои истории Садовской, а чтобы *показать, воспроизвести* прошлое, каким оно было, в мельчайших деталях, нюансах, *ощутить себя* в нём. И это ему блестяще удавалось. Пожалуй, во всей отечественной словесности немного найдётся у Садовского достойных соперников в излюбленном его жанре – историко-художественной стилизации.

Следует также иметь в виду, что проза Садовского далеко не исчерпывается лишь стилизациями. У него немало произведений и “чисто исторических”, если так можно выразиться, – написанных по всем правилам традиционного исторического жанра – и, как всегда, талантливо, нешаблонно, с изюминкой. К примеру, рассказы, акцентирующие острейшие социальные конфликты в Петровскую и Николаевскую эпохи – “Стрельчонок”, “Бурбон”, “Яблочный царёк”. Вот что, в частности, говорится о последнем из названных произведений в популярнейшем на Западе “Лексиконе русской литературы 20 века” Вольфганга Казака, крупнейшего немецкого учёного-слависта, профессора Кёльнского университета: “В рассказе из жизни русского дворянства “Яблочный царёк” повествование мастерски ведётся с нарастающим напряжением, трагизмом, проявляется глубокое понимание значения внутреннего голоса человека”. По глубокому убеждению Казака, “Садовской – несправедливо забытый, высокоодарённый писатель” (15).

#### V

У современных исследователей творчества Садовского можно встретить утверждения, что он является литературным предшественником таких, к примеру, исторических беллетристов, как Ю. Н. Тынянов, Л. П. Гроссман... Думается, в таком сопоставлении есть существенная недооценка таланта Садовского. Если уж исходить из критерия художественности, – а ведь именно это главное! – Садовского как прозаика всё-таки интереснее, значительнее и Тынянова, и Гроссмана. Читая последних, чувствуешь в первую очередь почерк филолога, историка и уж только потом художника. У Садовского же всё как раз наоборот. Или точнее – всё вместе. Ну можно ли не восхититься таким вот, к примеру, словесно-образным роскошеством – всё из того же “Яблочного царька”: “Сад, раскинутый на двенадцать десятин, весь искрился и сверкал под солнцем. В весеннюю пору трепещет он под лебяжьим нежным, как одуванчик, пухом и белеет издалека, будто вымазанный сметаной. В майский полдень, не шелохнувшись, замрёт в истоме, а над ним так и стонет, так и журчит, распевая, жаркий пчелиный гуд, и переливами сладкими ветер, вея, мчит от него воздушные, дышащие медом волны. К лету ближе начнёт сад темнеть, румяниться, загорать, станет голубоватым, голубым, синим, синелиловым, а там незаметно расцветится весь белыми и красными полосами. Но нет лучше времени, как сейчас: яблоки все до единого спели и налились слятью; тяжёлый апорт сквозит расплавленным янтарём, румянец на красном наливе рдеет, как у новобрачной, круглый анис будто облит кровью, и крепкая зелень антоновки засмуглела, а в украинский сочный малет солнце, брызнув горячим пурпуром, застеклило заставшие ярко пятна матово-белой кожей. За ленивыми листьями яблоки, те, что постыдливей, прячутся, тайком улыбаясь хозяину, как красные девицы, а другие напоказ обнажают

смело свою красу. И дрожит, переливается сад под зеркальными утренними лучами, и далеко, куда глаз ни хватит, в светлой тишине всё те же нежные колышутся переливы, всё тот же пурпур, и отблески, и сверканья, и ярь медяная, и золото, и янтарь” (16).

А до чего же хороша повесть “Лебединые клики”! Её не читаешь – смакуешь! И трудно удержаться, чтоб не привести хотя бы вот этот фрагмент из неё – о русских песнях:

“– А любите вы песни русские?

– Обожаю, кузина.

– Так слушайте. – Княгиня подняла точёную руку; гребцы переглянулись.

Чистый прозрачный звук полетел, извиваясь, над озером к синему лесу; не успел ещё домчатся до тростников, как подхватили его два других и, обнявшись, они втроем полетели плавно; то отставая, то расходясь, то перегоняясь, слились в одно и несутся звонкою, изнемогающей птицей. Немного ещё – и, кажется, упадут они, усталые, в озеро, но тут три новых голоса подоспели им на подмогу, и вынеслись все шестеро, далеко, далеко, к зубчатым верхушкам лиловых сосен:

*За окошком роща  
Всю ночь прошумела,  
А я, молодешенька,  
Всю ночь пропряла.*

Уносили голоса в ледяное царство, в овражные сугробы, где холодная алмазная полночь одна сторожит заснеженную деревню; в избе, при свете робкой лучины, пряха ночная поёт, изнывая, и бормочет веретеном. В лучинном свете, бледном и мерцающем, вся Русь неоглядная, широкая снится, мерещится, стелется, дремлет над сугробами и блистает в звёздах. Одна родимая вековая пряха, Христом обречённая петь и грустить бессловесно” (17).

## VI

Написанное Б. Садовским невольно пробуждает в памяти и многие страницы прозы С. Клычкова – его чарующие пейзажи, трогающие душу картины родного деревенского быта. Малая родина видится – и Клычкова, и Садовского, – да и моя тоже.

“...и Двина уж будет не Двина, а наша тихая, тёмная, заросшая на берегу ивняком и осокорем, трубачом да хлыстьями, в зелёной ряске с белыми по ней, словно вышитыми цветами речных лилий и с жёлтыми бубенчиками, – наша лесная красавица, под месяцем с лёгким ночным шепотком бегущая в Волгу, Дубна...”

На дубенском зелёно-муравном крутом берегу встанет в полночь наше большое село Чертухино, разойдутся избы перед глазами по берегу, отойдут в сторону сараи, сараюшки и вся холостая постройка, в тумане белом потонут и дыме наши овины. Над Чертухиным распушатся по небу столетние липы, берёзы, серебристые тополя и ветлы, и тогда похожи они в своих расшито-зелёных, кисейно-туманных уборах на наших дородных чертухинских баб, которые смотрят с берега в реку, охорашиваются и оправляют на себе дорогие наряды...”

По-за селом, в стороне, из-за ветел и лип, в берёзах вся, в тополях, поднимет к небу высоко-высоко наша сельская церковь, туда, где проходят облака-полуночники, синих пять куполов, и звёзды на них смешаются с звёздами в небе, и будет тогда и купол церковный, и синее-синее под месяцем небо – одно.

Слышно всё и видно в эти часы куда лучше, чем наяву.

Каждый разглядит свою крышу, увидит свой дом, в каком бы порядке он ни стоял, а если уж очень тоскливо в тот день было на сердце, то привидится плачущая жена у крыльца, а возле неё куча играющих в салки ребят...” (18).

И да простит читатель за пространное цитирование, – но как тут и ещё фрагмент не привести – из “Сахарного немца” опять же, первого из китежских романов Клычкова, – где вдохновенные строки о милой сторонке своей, о доме, с образом самовара сопряжены, всеопределяющим образом-символом, – как и у Садовского тоже:

“Зайчик вдруг почувствовал себя весёлым и бодрым, увидя отца и мать с самоваром: видно, всё же отдохнул в огородной ограде, отдышался от порохового дыма на мяте и божьей траве, глотнувши всласть домашнего уюта и тишины.

Мать водрузила на стол самовар, как роту расставила блюдца и чашки, а посредине поставила блюдо, в котором по крутым краям взбирался Афон, нарисованный очень искусно, в блюдо положила печёных яиц, которые Зайчик очень любил, свежий ломоть душистого хлеба на яйца, сбоку поставила большую чашку снежной сметаны, а на спинку от стула повесила колбасинный круг домашнего изготовления, сочный, душисто-скопченный самим Митрием Семёнычем и большой, как лошадиный хомут.

Смотрит Зайчик прямо в лицо самовару и в самоварной начищенной к такому случаю меди видит своё лицо, такое красивое, здорово-ядрёное, но скорбное и нежное, затаившее где-то в глубине засиненных под чёрной ресницей глаз такую печаль и тревогу, которым, кажется, нет и не будет конца.

– Ну вот и дело, видишь, на лад пошло: ишь, Миколаша – как огурчик с гряды, – сказал Митрий Семёныч, – лежи... лежи... Лёжа и чаю попьёшь, а я начал за тебя положу.

– И то, батюшка, полежу! – улыбается Зайчик.

Митрий Семёныч встал под икону, подкинул к ногам подрушник, осенился, затрусил бородой на икону и скоро бухнул в землю три раза.

– Я, Миколай, каждый день сорок поклонов кладу за тебя... да мать тоже столько...

Улыбается Зайчик отцу.

– На старости лет ты бы спину себе не трудил, – говорит.

– Э, что за труд: родительская молитва со дна моря достанет. – Подошёл к столу Митрий Семёныч, потирая руки и оглядывая всё повеселевшими глазами: – Ну, давай-ка колбаски!..

– Хорош у нас самовар, – говорит Зайчик.

– Король, одно слово, – гладит бороду Митрий Семёныч. И правда: Зайчик взглянул на камфорку – корона!

Корона и есть! <...>

Зайчик блюдечко допил, держит в руках пустое блюдце и на окошко глядит:

“Ах, Боже мой, Боже, какая прекрасная, светлая наша страна!

Какие по взгорьям её, по полям и овражкам раскинуты тонкие-тонкие шали, с каким нежным-нежнейшим и замысловатым рисунком!

Вышивала, узорила их золотая рука, и краски все эти нашло и взлелеяло доброе, чистое сердце!

Кому непонятна любовь к ним?..

Кто может прожить без любви к ним?..

Кто может обойти их с презреньем, насмешкой оскаливши зубы, кто может насмеяться над этой сыновней любовью?..

Если уж есть у нас эта любовь, так берёзовой болоны она твёрже – тверже и крепче, – но зато растёт на прямом стволу нашей великой судьбы, как болона растёт на берёзе, и самих нас уродит!

Насмеяться же над этой любовью – пусть над этим уродством – может преступник, лиходей поневоле или в душе душегуб по рождению!

Как, как не любить, как не верить, как не ждать, не томиться?..

Не плакать подчас беспричинно: ведь плакать всё больше и больше причины!”

...Думал так Зайчик и всё глядел за окошко. <...> ... всё Чертухино как на ладони.

– Хорошо же наше село, Миколаша! – говорит Митрий Семёныч в раздумье.

– Хорошо, батюшка... очень, потому что родное и такого другого нигде не найти, – Зайчик ему отвечает.

– Да и нету... Гляди. Миколаша, любуйся... на родное место посмотришь, и на сердце станет складнее и всё кругом веселей!

И Зайчик любит.

По засельным взгорьям рассыпано золото, лес за селом отряхает парчовую одежду, как будто кончился пир и веселье, теперь пора на покой до нового вешнего звону!

Над лесом голубой покров, и будто лес опрокинул себе на склонённую голову большую чашу и из чаши льётся голубое вино.

Льётся оно, льётся ему на разоблачённые плечи, на скошенный луг возле леса, на жёлтую ленту дороги, которой повязаны всходы на взгорье зелёные, яркие, как будто умытые первым зазимком, растаявшим с первым лучом из-за тучи, которая, верно, теперь в Чагодуе, а может, и дальше и из окошка только краем видна!

Из тучи бежит торопливое солнце: и верно, надо спешить – в овраге лежит белый горох ворохами, не время ещё доставать белую шубу, ещё Никита-Гусе-Пролёт не вспугнул с озера уток, не пронёс высоко над полем венцы журавлей и сам ещё не уехал на первой туче со снегом, растянув и разбросав с неё по всему необъятному небу гусиные стаи, как плетёные вожжи с раскатыстых дровней, для людского глаза похожих на тучу.

– Чудесная у нас, батюшка, сторонка! – говорит Зайчик в полузабытьи.

– Ворона и та свою сторону любит, не токмо что человек, – отвечает Митрий Семёныч, а Фёкла Спиридоновна и Пелагушка смотрят на них и молчат” (19).

...Сопоставим с этим строки из уже упоминавшегося альционовского сборника Садовского “Самовар”, ставшего самым известным из всех его книг, своего рода визитной карточкой его: “Самовар в нашей жизни, бессознательно для нас самих, огромное занимает место. Как явление чисто-русское, он вне понимания иностранцев. Русскому человеку в гуле и шёпоте самовара чудятся с детства знакомые голоса: вздохи весеннего ветра, родимые песни матери, весёлый призывный свист деревенской вьюги. Человек, обладающий самоваром, уже не одинок... Сельскому жителю самовар несёт возвышенный эллинский хмель... И конечно, не чай в собственном смысле рождает в нас вдохновение; необходим тут именно самовар, медный, тульский, из которого пили отец и прадед... Потребно иметь в душе присутствие особой, так сказать, самоварной мистики...” (20).

## VII

Закономерно, что они – и Клычков, и Садовской – потянулись друг к другу. И слово это здесь – друг – не только из стилистического оборота. Именно друг с другом были их отношения. Так Клычков в письмах своих, столь задушевно и нежно, обращался, пожалуй, только лишь к Петру Журову, самому сокровенному своему человеку. Адресат для него “милый друг”, а сам он – “твой Сергуня”.

...Ещё в пору первого знакомства Клычков посвятил Садовскому стихотворение “Теремок” (“В овраге под горою...”), которое потом включил в сборник “Потаённый сад” (автограф стихотворения Садовской сохранил в своём архиве):

*В овраге под горою  
За дымкой бирюзовой  
Стоит мой теремок...  
Вечернею порою  
У окон вьются совы,  
Над кровлею дымок.*

*Я одинок, как прежде,  
С надеждою земною  
В далёкой стороне,  
И месяц надо мною  
В серебряной одежде  
Плывёт по старине.*

*И прежний сон мне снится,  
И так я счастлив снова  
В останний, может, раз:  
У окон плачут совы,  
Над кровлею зарница,  
У окон звёздный час.*



*Так всё вдруг стало близко,  
И нет конца и краю:  
И я в стране другой  
Тебя, друг, не узнаю,  
Друг, друг мой дорогой.  
Тебя я не узнаю (21).*

...Нет, и в другой стране, в другом времени, когда Потаённого сада и в грёзах уж не стало, не утерялось узнавание, не утеряли они друг друга.

“Дорогой Борис! Рад и счастлив за тебя, что ты жив и пишешь! И как пишешь!” (22).

Весточка эта в 1926-м прислана в Нижний, на Тихоновскую, где жил больной, прикованный к инвалидному креслу, позабытый многими, а кем-то и похороненный уж Садовской...

## VIII

Для лучшего понимания того, на какой ценностной базе строились отношения Клычкова и Садовского, многое даёт книга последнего “Озимь” (1915 г.), взорвавшая общественное мнение, потому как на всеобщий авторитет покушалась, на самого Валерия Яковлевича Брюсова, в поэтическом да-ре ему отказывала: “Божия милость не осенила чела его... В Брюсове-художнике не чувствуется совсем творца: даже не архитектор он, а планировщик, декоратор” (23). Несмотря на осуждение книги большинством современников, были и слова поддержки. Главное – Блок поддержал! Блок, которого Садовской считал “моцартнейшим из русских поэтов”, достойным преемником Афанасия Фета (как никто сумевшего “выявить чистую гармонию стиха” (24)), – нет, не за критику, конечно же, Брюсова (тут, надо признать, Садовской уж слишком пристрастен), а за то, во имя чего была критика (за что, кстати, шестью годами ранее Блок и дебютную книгу Садовского поддержал, поэтический сборник “Позднее утро”. “Читаю “Позднее утро”, многое полюбил, особенно деревенское”; “Может быть, ещё многое придётся сызнова переоценивать Вам самому. Вероятно, для окончательных оценок ещё не настало время; но то, что Вы пишете о деревне русской, останется незыблемым” (25). (Курсив мой. – Ю. И.) В книге, изруганной многими, Блок увидел то, что и следовало увидеть, – действительно достойное, нетленное – идущую от самого сердца сыновнюю любовь к России, неподкупную пламенную веру в неё – истинную, исконную, патриархальную. Блоку, до мозга костей человеку города, рожденному и воспитавшемуся в условиях, воспринимавшихся им как “страшный мир”, были по-особому близки заветные мысли Садовского, что великая их родина всегда держалась и будет держаться деревней, провинцией, ценностями старорусского быта, традиционной культуры. Вот поистине вещице, пророческие строки “Озимь” (из обращения к “господам футуристам” в статье “Футуристы и Русь”): “Там, за вашими столицами, где родились и выросли вы, как корабельные крысы в трюме, за миром редакций, кабачков, кулис, авансов, бульваров, за эстрадами, где плюёте вы в великих художников и выкликаете свои дырбулщурь, – там стелется и шумит хлебным океаном старая, святая, великая наша Русь, которая вас не знает и знать не хочет. Ведь это вы к нам пойдёте, в нашу родную глушь, в трущобы наши лесные, в провинцию, к уездным лампадкам, к монастырским колоколам, к прадедовским могилам, в Михайловское, на Светлое озеро, в Ясную Поляну, туда, где

*Всю землю, грустно-сиротлива,  
Считая родиной скорбей,  
Плакучая склоняет ива  
Везде концы своих ветвей.*

И не дай Бог, лопнет вдруг шина на моторе или бензину не хватит, что тогда? Ведь Гоголевская тройка вас перегонит. <...>

Там где-то, в деревенской глуши, в городках уездных, на постоянных дворах, на родительских погостах, сидят те, кому дано двинуть, обновить Россию и освободить её искусство и язык. Добро пожаловать, дорогие гости! На пле-

чах своих благоговейно принесёте вы из заповедного захолустья те самые древнего письма дедовские иконы, что похваляются здесь побросать в воду столичные авиаторы и шоферы” (26).

В подобном же духе было выдержано и вступление ко всей книге. Сообщая, что пишет его “в деревенском глухом затишье, среди занесённых снегом полей, в глубинах чистейшей тишины и легкого одиночества”, “в родных дебрях”, где первейшие ценности – “старорусская культура и здравый смысл” (27), автор демонстративно отсекал себя от всех этих футуристических “авиаторов и шофёров” и показывал, что он всем сердцем с теми, кто “там, во глубине России” вершит неброскую, но такую нужную подвижническую работу, за кем *Будущее*.

Вдумчивые читатели, давно следившие за произведениями Садовского, – среди них и Блок, – конечно же, видели и в нём самом одного из таких подвижников.

В контексте “Озими”, связавшем в нашем представлении имена Клычкова и Садовского, и ещё одна отмеченная Блоком книга Бориса Александровича “Русская Камена” – в частности, за мысль “о творцах эпохи, эпитафией жизни которых служит: “береги честь смолоду” (28) (в очерке о поэте Денисе Давыдове): “Великолепна была сама внешность событий: Бородино, Москва, Париж, гром оружия, орлы, лавры, живописные герои, имена которых сразу сделались народными. А в сущности, главными деятелями великой эпохи были скромные Белкины и Гринёвы, повесть жизни которых начиналась эпитафией: “Береги честь смолоду”. Воспитанные в здоровых условиях подлинного, ещё не тронутого, старорусского быта, Гринёвы и Давыдовы воспринимали настоящую, нормальную жизнь, не подмененную никакими теориями. <...> Давыдов был одним из ростков этого старого культурного быта, умершего вместе с ним, с Пушкиным, с романтизмом, с “преданьями простонародной старины”. <...> В своей удивительно написанной “Автобиографии” Давыдов <...> рассказывает о своём воспитании. <...> Так или почти так воспитывался и пушкинский Гринёв, находясь в постоянном общении с природой, развивавшей свободу и широко все его духовные свойства. И из пухлого дворянского недоросля вышел человек долга, для которого “беречь честь смолоду” являлось высочайшим заветом жизни” (29).

## IX

Творческие судьбы С. Клычкова и Б. Садовского – это движение навстречу друг другу двух России, крестьянской и дворянской. Их многое разделяло, но и многое сближало – и прежде всего жажда обретения Града невидимого, Китежа. Традиции поместно-усадебной, провинциальной культуры предопределили тональность, художественные особенности произведений Клычкова и Садовского. О чём бы они ни писали, главным для них всегда была Природа – чарующая, влекущая к себе, целительница и спасительница – Природа как Заповедный мир, Потаенный сад, которому, увы, грозит разорением и опустошением человеческая цивилизация... Но если Клычков как бы родился с этой темой, с ней пришёл в литературу, то Садовской в полном смысле выстрадал её, она стала для него итогом жизненных и творческих исканий. Показательным в этом отношении стал его “срединный” сборник, с символическим названием “Полдень”, – самая объёмная из всех изданных им книг, в три сотни страниц, – и самая противоречивая, неровная по составу: наряду с превосходными лирическими стихами немало откровенно слабых, раздражительных, риторических, которых не следовало бы включать в книгу – и, найдись придирчивый редактор и ужми её наполовину, многим выиграла бы и, возможно, стала бы одной из лучших книг Серебряного века. Всё так – и однако ж то, в каком виде предстал “Полдень”, позволяет нам с исчерывающей полнотой судить об эволюции Садовского-лирика, о предпочтениях его, о глубинном тяготении к теме природы. Ведь именно так – “Природа” – и озаглавил он первый, композиционно самый сильный раздел сборника, да и в других разделах довольно стихов на эту тему – и они зачастую наиболее интересны и выразительны.

Именно через Природу – заповедность, естественность, гармоничность, всеединство – через Природу – Китеж – и сблизилась, исторически примирились, породнились – сужу это на примере сопоставления творчества Клыч-

кова и Садовского — крестьянство и дворянство. И послереволюционные катаклизмы эту связь только упрочили, при том что семнадцатый год они встретили по разные стороны баррикад; в советские 20-е — 30-е многие представители двух основных российских сословий — опоры Отечества — лучшие представители стали изгоями, но время показало: на их стороне, с ними была историческая правда.

...Так, открывая для себя Клычкова, я открывал и Садовского. И благодарю за это судьбу.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Садовской Б. Позднее утро. М.: Скорпион, 1909. — С. 3.
2. Клычков С. А. Собр. соч.: В 2 т. — М.: Эллис Лак, 2000. Т. 2. — С. 489.
3. Литературное обозрение. — 1987. — № 5. — С. 110.
4. Садовской Б. А. Записки // Российский архив. Вып. 1. — М.: Студия “ТРИТЭ” — “Российский архив”, 1991. — С. 162.
5. Клычков С. А. Песни: Печаль; Радость; Лада; Бова. — М.: Альциона, 1911. — С. 3.
6. В издательстве “Мусагет”, кстати, и Садовской, и Клычков также напечатываются.
7. Лица: Биограф. альманах. 10. — СПб.: Феникс; Дмитрий Буланин, 2004. — С. 149–150, 163.
8. РГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 69.
9. РГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 109, л. 1.
10. РГАЛИ, ф. 464, оп. 2, ед. хр. 114.
11. См. письмо С. М. Городецкого С. А. Клычкову от 3.03.1925 г. // Встречи с прошлым. — М.: Советская Россия, 1988. Вып. 6. — С. 184.
12. Журов П. А. Две встречи с молодым Клычковым // Русская литература. — 1971. — № 2. — С. 150–151.
13. Клычков С. А. Чертухинский балакирь: Романы. — М.: Советский писатель, 1988. — С. 441.
14. Садовской Б. А. Записки. — С. 163.
15. Казак Вольфганг. Лексикон русской литературы XX века. — М., 1996. — С. 360.
16. Садовской Б. А. Лебединые клики. — М.: Советский писатель, 1990. — С. 276–277.
17. Там же. — С. 136.
18. Клычков С. А. Чертухинский балакирь: Романы. — С. 36.
19. Там же. — С. 78–82.
20. Садовской Б. А. Самовар. — М.: Альциона, 1914. — С. 3.
21. РГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 69.
22. РГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 69.
23. Садовской Б. А. Осень. Статьи о русской поэзии. — Пг., 1915. — С. 16.
24. Садовской Б. А. Лебединые клики. — С. 380.
25. Литературное наследство. Т. 92. Кн. 1–5: Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 2. — М.: Наука, 1981. — С. 309.
26. Садовской Б. А. Осень. — С. 25–26.
27. Там же. — С. 8.
28. Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. — М.—Л.: Художественная литература, 1963. — С. 322.
29. Садовской Б. А. Лебединые клики. — С. 342–343.